

Будучи филологом-исследователем и взявшись в недавнем прошлом изучать биографии наших местных писателей второй половины двадцатого века, я обнаружил, что почти все наши писатели, окончание творческой жизни которых совпало со временем «лихих девяностых» — то есть страшной ломки системы, развала СССР и мучительного рождения новой страны, России, — заканчивали свою жизнь в ужасных условиях: с мизерными пенсиями, в нищете, в забвении и при полном отрицании их былых творческих заслуг, да, мало того — ещё и в облыжных обвинениях их всех со стороны вновь народившегося поколения молодых агрессивных литераторов в «приспособленчестве» по отношению к правящим партийным властям в той, прошлой, советской жизни; хотя я, исследуя творчество тех писателей, должен — да просто обязан! — засвидетельствовать, что да, некоторые из них — точно так же, как и в наше время, и во все без исключения времена, — и в самом деле вели себя приспособленцами и прилипалами к властям предрержащим, однако большинство их всё-таки были вполне честными и искренними, в силу своих талантов и умения воспевая, обличая и анализируя своё время и жизнь своих земляков-современников в стихах, прозе и публицистике.

Но, пожалуй, в наиболее трудной, да к тому же ещё и довольно необычной ситуации оказался в это самое «время девяностых» один из них — детский писатель Николай Иванович Мякишев, а потому я больше всего заинтересовался им и его биографией и на ней остановил своё пристальное внимание.

Почему? — спросите вы. Да потому что именно на его старческой судьбе больше всего отыгралась вся бессмыслица и уродливость того времени.

Но почему именно на нём? — опять же спросите вы... Да потому, видимо, что, во-первых, детская литература оказалась в той ситуации наиболее уязвимым духовным продуктом — и, стало быть, ситуация больше всего ударила по детскому писателю; а во-вторых, по характеру своему был он (на мой взгляд, конечно же!) наиболее типичной творческой личностью — ярко выраженным интровертом, и при том человеком скромным, сдержанным, немногословным, даже, на первый

взгляд, замкнутым, да при этом ещё и совершенно индифферентным к политическим играм своего времени, в пользу, разумеется, своего главного занятия, — да, пожалуй, ещё тем, что носил такую вкусную, хлебную крестьянскую фамилию, а, как известно с древнейших времён, имя (то есть, по русской традиции, полное имя, включающее в себя имя собственное, отчество и фамилию) — уже знамение. Вот он и оказался в той ситуации наиболее незащищённым из всех остальных писателей нашего города, типичного сибирского областного центра средней руки, где писателей и было-то раз, два — и обчёлся.

К тому же я, будучи по роду своей деятельности более-менее знаком с большинством из них, с ним был знаком менее всего — скорей, из-за большой разницы в возрасте: этакое, знаете, чисто шапочное знакомство по обязанности. Тем более что, как я уже сказал, был он ярко выраженным интровертом, не кидаящимся сломя голову в новые знакомства. Причём, должен заметить, даже со своими коллегами он был довольно сдержан, так что мне пришлось устанавливать факты его бытовой и творческой жизни косвенными путями: вчитываясь в его тексты, не изуродованные редакторами, и в его черновые записи, уже ставшие достоянием архивов, а также благодаря опросам и свидетельствам его близких родственников, немногочисленных товарищей и людей, хорошо его знавших.

И когда я познакомился с фактами его биографии и творчества ближе, мне представилось, что они могут быть интересны не только мне как исследователю — но и кому-то из широкого круга читателей. Так вот зародились эти биографические записки, слепившись в конце концов в целую повесть.

1.

Но это через многие годы он стал Николаем Ивановичем, довольно известным у нас в городе человеком, — а надо бы начать рассказ о нём с его юности.

Собственно, тогда их было даже трое, трое друзей, и их судеб тоже придётся коснуться в той степени, в какой они, эти их судьбы, сплетались время от времени с судьбой самого Николая

Ивановича,—так что прямо-таки классический сюжет складывается, вроде небезызвестных «Трёх мушкетёров», «Троих в лодке, не считая собаки» или «Трёх товарищей»; да ведь вы, дорогие читатели, и сами можете назвать ряд книг, где и в названиях, и в текстах фигурирует цифра «три», ведь число это не просто символично, а прямо-таки сакрально: во всех сказках, пушкинских ли, или народных, причём не только русских,—всюду натыкаешься на исполнение трёх желаний, трёх испытаний или трёх попыток, из которых третья — непременно верная; и в архаической мифологии всех времён и народов боги, богини, герои и героини и все мифические существа трёхголовы, триедины или трёхличностны. Даже в русской народной поговорке «Бог троицу любит».

Вот и в этой своей повести я не обойдусь без трёх главных персонажей, причём сошлись они вместе ещё, как говорится, *во время оно* в одной комнате студенческого общежития нашего пединститута.

Что значит «нашего»? Нашего, областного — ведь, как известно, в каждом уважающем себя областном центре необъятной нашей Родины обязательно есть свой пединститут; естественно, таковой имеется с незапамятных лет и в нашем городе (хотя почему с незапамятных-то? — я вам точно скажу с каких: с первых послереволюционных, то есть с начала двадцатых годов двадцатого века). Вот в нём они и учились, уже в послевоенное время. И причин тому, чтобы их звёзды сошлись в одной комнате общежития, было много...

В годы их учёбы, например, учительская профессия, если правду сказать, была у молодёжи не в чести: работа нервная, трудозатратная, зарплаты небольшие, да ещё после института выпускников обязывали *отрабатывать срок* в глухих углах, — так что в «пед» шли главным образом или школьные выпускники обоего пола, твёрдо решившие посвятить себя благородной профессии учителя, или уж девчонки, которым ничего больше не светило, а диплом иметь хотелось.

Но было ещё несколько факторов, отвлекавших наших выпускников от пединститута: так, лучшие из них — в первую очередь медалисты, конечно! — уезжали штурмовать самые престижные вузы столицы; выпускники второго, так сказать, эшелона предпочитали вузы технические, которых к тому времени и у нас в городе уже было несколько; а для выпускников мужского пола, не очень уверенных в своих знаниях, зато полных боевого задора, был ещё один соблазн — военные училища, — так что в педвузах, да ещё на гуманитарных факультетах, парни оказывались редкостью. Зато их там ценили и баловали вниманием...

Именно «гуманитариями» и были те ребята, что сошлись когда-то в одной комнате пединститута вместе с Колей Мякишевым,

поступившим на биофак: Паша Стригалёв — истфаковец, а Слава Фомин — с филфака.

Причём, думаю, сошлись они втроём совсем не случайно.

Я уже где-то писал, что люди делятся меж собой главным образом не по национальностям, верованиям или социальному статусу, а в первую очередь по месту рождения — на «деревенских» и «городских», и эта разница между теми и другими, вроде бы невидимая, практически не стирается до конца жизни.

Так вот, их, этих троих моих персонажей — или литературных героев, если хотите, — объединяло именно то, что все трое родились и выросли в селе, среди широкого природного пространства (да ещё сибирского!), среди сельской тишины и малолюдья, и за пять лет, проведённых в тесной общежитской комнате, настолько сдружились, что это связало их на всю жизнь, хотя жизнь временами и разводила их потом, и отчуждала иногда на целые годы.

Они и внешне-то были в чём-то схожи, словно братья: все трое — блондины, сдержанные, немногословные, даже поначалу робкие в чуждой им городской среде, хотя эта самая среда со временем потихоньку отбёсылила их и шлифовала; и всё же внутренне они оставались по отношению к городу чуть-чуть отчуждены.

Но стандартные комнаты в общежитиях строились раньше в расчёте на четверых; поэтому постоянно с моими тремя персонажами жил кто-то четвёртый. Причём на первых двух курсах это был студент с матфака по имени Феликс. Феликс Аралбаев, симпатичный паренёк с явно густой примесью тюркских кровей.

Он появился в дверях комнаты в самый последний день августа, уже после вступительных экзаменов и зачисления в институт, и, мягко улыбаясь, сказал:

— Привет. Меня на свободное место к вам определили.

— Ну, проходи, раз определили. Вон твоя кровать, — довольно холодно показал ему на железную кровать с голой сеткой кто-то из тех троих — сами-то они успели *скорешиться* ещё на вступительных экзаменах и к четвёртому, естественно, отнеслись как к чужаку. — Только пойдй получи у кастаньяши постель...

Он ушёл, через некоторое время принёс матрац, подушку, постельное бельё, застелил постель и сел на неё, рассматривая своих будущих товарищей.

Бегло успели рассмотреть новичка и «старожилья», и ничто в его облике от них не ускользнуло: густая смуглость кожи, узкие ладони, тонкие пальцы, чёрная, аж с синеватым отливом, слегка кудрявая шевелюра, заметный белёсый, заросший уже, шрам на лбу, изломавший одну бровь, чёрные

глаза в чёрных же мохнатых ресницах и припухших веках... Невольно начались расспросы с их стороны: как зовут? откуда приехал?

Оказалось, приехал он издалека — из какого-то казахского областного центра. Из какого именно — забылось со временем, да это уже и неважно теперь; важнее другое: он был явным горожанином, из тех нервно-общительных, явно битых и крученных жизнью городских «пацанов», выросших в тесном барачном «уют», «под сталинским солнцем свободы» (так, кажется, пелось в старом гимне СССР?), в контакт вступал быстро и русским языком владел даже лучше своих новых товарищей, чистокровных русичей, — правда, нечаянно приправляя свой язык, с одной стороны, *блатной феней* и нечаянными матерками, а, с другой — чисто интеллигентными оборотами речи, да ещё с ироническим оттенком, типа «благодарю покорно» или «имею честь доложить вам».

— Как тебя к нам занесло-то, в такую даль? — спросили они его, немного *обнюхавшись*.

— Да-а, было дело... Пришлось уехать, — невнятно пробормотал он.

Но ребята и не наседали: что у него там было за «дело»?..

— А где бровь рассекли?

— Где-где! — уже насмешливо передразнил он любопытного. — В родном дворе. У нас там знает какой весёлый интернационал: казахи, русские, немцы, чеченцы! Скучно не бывает. Даже убивают иногда.

— Поня-атно... А где твои вещи?

— Сейчас поеду, привезу. Я на квартире жил, пока экзамены сдавал...

И он, посидев немного, в самом деле ушёл, а через час вернулся и припёр с собой огромный чемоданище, какого ни у кого из остальных ребят не было — так, чемоданишки, а то и вовсе рюкзачки; а в чемоданище том было полно красивых, изящных вещичек: курточки, рубашечки, брючки, а среди брючек — ещё и заморские джинсы, каких остальные ребята не только не видывали, а и слыхом-то о них не слыхивали — во всяком случае, на первом курсе. И, в отличие же от остальных, бросавших свои вещички где попало: на стульях, на спинках кроватей, а то и просто на кроватях, — Феликс всё своё добро аккуратно развесил во встроенном шкафу, предварительно нанизав на плечики, имевшиеся в том самом чемодане. Такое внимание к своему тряпью, совершенно не в стиле его новых сожителей, было бы, наверное, немедленно ими осмеяно, если бы не одно «но»...

Вторым, что он принёс с собой, была связка книг. И в довершение ко всему он достал из чемодана и положил на самую замызанную, выдавшую виды тумбочку, какая ему досталась, красивую: склеенную из разноцветных пород дерева, лакированную, явно штучной работы, большую шахматную доску

с гремющими внутри шахматными фигурами, а в саму тумбочку сунул ещё и шахматные часы с двумя циферблатами, а также оклеенную серым дерматинном коробочку карманных шахмат и уже упомянутую связку книг.

Собственно, именно с шахмат и завязался у них общий, уже заинтересованный разговор: Феликса спросили о чём-то по поводу шахмат, и он пояснил, что любит играть в них, с семи лет занимался ими в городском Дворце пионеров и участвовал в детских и юношеских соревнованиях. Наши ребята признались, что тоже не чурались их в школе и тоже участвовали в школьных соревнованиях, и Феликс тут же предложил сыграть с ними «на вылет» (когда каждый проигравший уступает место следующему).

Нашему главному герою, биофаковцу Коле Мякишеву, смело севшему играть с ним первым, он поставил детский мат в три хода; следующий, филфаковец Слава Фомин, проиграл, продержавшись семь ходов; последний, истфаковец Паша Стригалёв, самый вдумчивый и упрямый из троих, сопя и долго думая над каждым ходом, продержался аж целых двенадцать ходов — и всё равно проиграл. Причём сам-то Феликс, чувствовалось, играл вполсилы — свои ходы делал мгновенно, ни секунды не думая, да ещё при этом посмеиваясь и пошучивая.

Все проигравшие пришли в злой азарт от проигрышей: как это — сдаться какому-то заморышу из неведомой казахской дыры? — и играли с ним потом до ночи, изо всех сил стараясь отыгаться хоть однажды; каждый из них сразился с Феликсом по три раза — и безуспешно... Потом играли против него все вместе, много думали и спорили над каждым ходом — и всё равно оба раза *продули*: Феликс остался непобежден, как скала.

И когда, наконец, все трое его партнёров выбились из сил, признали за ним беспрекословное первенство и бросили играть, однако всё ещё продолжая возбуждённо обсуждать свои проигрыши, спорить и недоумевать: в чём загадка их прямо-таки беспомощных проигрышей? — Феликс, добродушно посмеиваясь, сказал им, что, во-первых, у него первый спортивный разряд по шахматам и он входит в пятёрку лучших шахматистов своего города, причём четверо из них — мастера спорта и кандидаты в мастера, а во-вторых, посмеялся над тем, что ребята понятия не имеют о теории шахмат... Тут он достал из тумбочки свою связку книг, разложил их, показывая им: как оказалось, все до единой были о шахматах, — и, раскрывая их по очереди, стал рассказывать про шахматные азы: что такое дебют, гамбит, миттельшпиль, эндшпиль и что такое шахматные задачи; потом расставил на шахматной доске фигуры и стал показывать всевозможные приёмы «в натуре». Затем чуть не всю ночь снова играли трое против

одного, и после каждого их проигрыша Феликс подробно разбирал каждую партию, рассказывая им об их ошибках и возможных вариантах. А ребята дивились другому: как он, ничего не записывая, запомнил каждый ход в каждой из этих последних партий — и свои собственные, и их ответные?! — так что в первый же день знакомства они восхитились им и со всем своим пылом юношеского максимализма провозгласили его шахматным гением.

Всё это случилось вечером накануне учебного года. А уже на следующий день, первого сентября, все они, каждый со своей группой, как и все студенты первых четырёх курсов во всех вузах страны, в обязательном порядке на весь сентябрь разъехались на сельхозработы по колхозам. Однако через месяц, вернувшись в город, эта четвёрка с первых же дней занятий продолжила в свободное время заниматься шахматами — настолько сумел заразить их ими Феликс.

Скинувшись, они купили ещё один комплект шахмат, самый раздешёвый, с картонной «доской», и теперь, придя с лекций, забыв про учебники и чтение, резались сразу на двух досках. При этом, уже наученные Феликсом, стали записывать свои партии в тетрадках и разбирать сыгранные партии, пробовали разные возможные варианты их, заглядывали в Феликсовы шахматные книги, сверяя собственные шахматные ходы с книжными, а уже ночью, наигравшись до одури, забравшись в постели и потушив свет, продолжали спорить и обсуждать варианты...

Кстати, в знак полного доверия к нему они в своём узком кругу сменили ему имя, слишком чужое для них, из какого-то европейского куртуазного романа, на простецкое — Филя. Даже — Филька... Со временем это *погоняло* выпорхнуло из комнаты и пошло гулять сначала на курсе, а потом и во всём институте, так что довольно скоро Феликса все только Филей и звали и даже удивлялись, когда узнавали, что он — Феликс.

Весь октябрь в их комнате проходил под знаком шахмат... А с начала ноября, когда, наконец, институтская жизнь вошла в нормальный ритм, — оживилась и спортивная жизнь; в частности, на конец месяца на факультетах намечены были факультетские личные первенства по шахматам, на которые мог записаться любой желающий; Феликс, естественно, записался одним из первых на своём матфаке и взялся за тренировки.

В институте он теперь слушал лекции и участвовал на практических занятиях лишь по физике и математике; на всех же прочих лекциях, которые были ему неинтересны, он, садясь в аудитории на последний ряд, доставал карманные шахматы и, уткнувшись в них, без конца гонял фигурки и решал шахматные задачки, а кроме того, после

лекций стал ездить в областную библиотеку и брать на абонементе свежие книги по шахматам или очередной журнал «Шахматы в СССР»; если же их ему не давали на дом, просматривал их в читальном зале, что-то выписывая из них в свою тетрадь, а вернувшись в общежитие, читал взятую в библиотеке литературу и опять что-то выписывал. Или разыгрывал шахматные партии сам с собой. А поздно вечером, закончив заниматься всем этим, «для отдыха» он ещё предлагал *сокамёрникам* сыграть с ним по очереди, но — с каким-нибудь условием: или давая партнёрам фору, сам играя при этом без ладьи, слона или ферзя, или играя «вслепую»: когда его партнёр сидел за столом и двигал фигуры, а сам он диктовал свои ходы вслух, ложась на кровать и уткнув лицо в подушку.

На матфаковском личном первенстве он занял лишь третье место, уступив двум старшекурсникам: одному — кандидату в мастера спорта, а другому — тоже, как и он, перворазряднику, — и был этим недоволен — он оказался большим честолюбцем! Зато вошёл в факультетскую команду перед институтским командным первенством, которое намечено было на декабрь... И опять у него всё повторилось, только с ещё большим упорством: постоянная игра с самим собой в карманные шахматы на лекциях, изучение новых шахматных книг и журналов, игры с товарищами по комнате «вслепую» или с форой.

На институтском первенстве по давней традиции победу одержала команда матфака, самая сильная в институте. А при подсчёте личных победных баллов эта же самая тройка факультетских победителей — в том числе и Феликс — вышла в финалисты и здесь тоже, причём Феликс по соотношению выигршей, проигршей и ничьих переиграл старшекурсника-перворазрядника и вышел на второе место по институту, уступив лишь кандидату в мастера. А в результате все трое вошли в институтскую команду, которой предстояло защищать честь института на областном командном первенстве всех учебных заведений под флагом спортивного общества «Буревестник»...

На этот раз Феликс был доволен собой: ему очень хотелось попасть в институтскую сборную, и он это сделал — он оказался настоящим спортсменом!..

Однако уже вскоре это его довольство собой было омрачено большой неприятностью, подкрававшейся к нему весьма неожиданно: кое-как, с грехом пополам, сдав зачёты, к экзаменам на зимней сессии он вроде бы и был допущен, но тут вскрылась большая неприятность — согласно журналу посещения занятий, он вошёл в чемпионы курса по их пропуску! Дело запахло отчислением из института. Он отнёс в деканат в муках сочинённую им объяснительную записку о том, что

пропускал занятия только потому, что изо всех сил защищал сначала спортивную честь курса, потом — факультета. На старших курсах такие оправдания срабатывали, но на первом — деканат строжилась, приучая первокурсников к дисциплине, как говорится, «на старте»... В конце концов он всё-таки вымолил прощение — его допустили к экзаменам, но его постигла новая неприятность: два экзамена провалил. Правда, к частичной компенсации такого провала, два других экзамена — высшую математику и физику — он сумел сдать на «отлично». Вот такие неровные успехи и неуспехи в учёбе неожиданно обнаружили у нашего шахматного гения...

Но съездить домой на зимние каникулы у него не получилось: надо было срочно исправлять «неуды».

Приезжала его мамочка, начавшая расплываться женщина средних лет и со славянской внешностью: сероглазая, с копной густых рыжих волос, одетая в строгий деловой костюм синего цвета. Она сразу покорила Феликсовых товарищей тем, что щедро одарила их, слегка поотощавших от студенческой столовки, целым мешком «райской вкуснятины»: копчёной колбасы, сгущёнки, пачек печенья, россыпи шоколадных конфет, — уплетать которую ребятам хватило потом на целых две недели.

Она тоже ходила в деканат и тоже, видно, покорила их там, потому что Феликсу разрешили исправлять свои «неуды» в течение всего второго семестра. А когда уехала, у ребят с ним случился небольшой, но примечательный разговор, поводом для которого стала именно она, его мама.

— Какая она у тебя серьёзная! Чем она, интересно, занимается?

— Да-а, какая-то начальница в торговле, — небрежно махнул он рукой.

— Филька, а чего ты казахом прикидываешься? Она ж у тебя — русская!

— Так а я в отца пошёл, а батя — чистокровный кыпчак, потомок Чингисхана, — улыбочиво щуря глаза в чёрных густых ресницах, отшучивался он.

— Да какой ты потомок Чингисхана? Ты по-русски лучше нас *ботаешь!*

— Хе-хе-хе, — снова лукаво посмеивался он. — Был бы русским — и был бы как вы, а так я малый народ, а вы — мои угнетатели! — похохатывал он.

— А откуда у тебя, потомок Чингисхана, такая странная любовь к математике, к шахматам?

— Почему — странная? — опять лукавил он. — Мои предки всю жизнь в степи жили, баранов считали. Всё привыкли считать, причём в уме: баранов, звёзды, ветры, врагов, предков своих. Считать и всё помнить. Вот так-то!...

В течение февраля он всё же изо всех сил постарался исправить свои «неуды» на «тройки»

(на «международную», согласно студенческому жаргону) — иначе бы его просто не допустили до областного первенства. А между тем он, уже наученный горьким опытом, теперь, во втором семестре, исправно посещал занятия, на которых, между прочим, по-прежнему вдохновенно гонял фигурки карманных шахмат, после занятий непременно ездил в областную библиотеку, читал взятую там литературу, а вечерами опять играл с товарищами «вслепую» или с форой.

Однако товарищи его по комнате к тому времени понемногу охладевали к шахматам и уже играли с ним без охоты: их влекли другие, свои интересы, — и Феликсу пришлось искать новых партнёров.

При институте работала своя шахматная спортивная секция, но в ней, по его мнению, были одни *слабаки*; зато в одном из Домов культуры он разыскал городской шахматный клуб — там собиралась серьёзная публика, вполне достойная того, чтобы с ней *рубиться*: по преимуществу взрослые, солидные люди. По воскресеньям он стал ездить туда (имейте в виду: воскресенье в те годы было единственным выходным днём в неделе!).

Городские шахматисты, познакомившись с ним ближе и обнаружив в нём шахматный талант, весьма высоко его оценили, в то время как *сокамерники* хоть и уважали его за талант, однако относились к нему как к равному — к такому же, как сами: просто у них свои таланты, а у него — свой, только и всего...

А в марте состоялось областное командное первенство «Буревестника» по шахматам. Я уж не помню точно, какое именно — не то второе, не то третье — место заняли наши «педагоги»; первое там по традиции держала мощная команда «технарей» из политехинститута.

В те годы не было такого повального, как нынче, увлечения англицизмами, и слово «рейтинг» не было никому знакомо; я это — к тому, что на том престижном первенстве Феликс добился высоких личных результатов. Во-первых, ему дали красивую, с золотым тиснением, грамоту. У него уже было их несколько за этот учебный год, по нарастающей; он развешал их все над своей кроватью и, как ребёнок, искренне гордился ими (между прочим, на самом деле этих грамот у него, начиная с пионерского детства, как оказалось потом, была целая папка, и он её берёт в своём чемодане); во-вторых, результаты последних областных соревнований давали ему право на звание кандидата в мастера спорта, и это — в семнадцать лет! Перед ним открывалась блестящая перспектива... Он вошёл в шахматную элиту города: о нём дали статью в областной молодёжной газете как о самом юном в городе кандидате в мастера; ему выделили путёвку во всесоюзный летний спортивный лагерь где-то под Москвой,

где собирали на стажировку юных шахматных гениев со всей страны. И наконец, его включили в молодёжную команду на зональное первенство по шахматам—а нашей спортивной зоной была чуть ли не вся Сибирь! Было отчего закружиться Феликсовой головушке. Но, к его чести, он, помня про свой позорный провал на зимней сессии, на этот раз свою голову не терял—после областного первенства взялся за учёбу всерьёз: на лекциях честно писал конспекты, выполнял в срок курсовые работы, подтянул *хвосты*, и хоть и без блеска, но все весенние зачёты и экзамены сдал.

В отличие от товарищей, он частенько получал письма из дома—от родителей, родственников, товарищей; любил читать их, сидя на своей постели, свернув ноги калачиком, и после чтения их—прямо-таки по-детски—заметно веселел. Но однажды—это было уже весной—получил письмо, которое он, кажется, перечитал несколько раз, как-то слишком серьёзно и озадаченно задумался и начал говорить лишь после долгого молчания: — Вот, получил письмо от дружка, Сеита, — вместе бегали в шахматную секцию во Дворец пионеров. Пишет, защитил звание мастера спорта.

— Здорово!.. Так там у вас, поди, блат для своих? — высказали предположение товарищи. — Жил бы у себя — и тоже бы, наверное, был мастером спорта. — Не-е, не стал бы! — уверенно покачал головой Феликс. — У меня жуз не тот.

— Чего-чего? Какой такой «жуз»? — Вам не понять. Жуз—это как бы племя или род, но и не племя, и не род. А я в своем городе не из того жуза, да ещё не чистый кыпчак, так что мне там первым—не быть. Могу быть вторым, третьим—а первым не быть никогда. Азия, средневековье! — невесело усмехнулся он. — Все—комсомольцы, коммунисты, говорят про социализм—а живут по феодальным законам.

— Ну и правильно, что к нам приехал, — успокоили его товарищи. — Съездишь на «зону» и тоже мастером станешь—какие твои годы?! Ты ж—почти готовый мастер спорта!..

2.

Летом ему исполнилось восемнадцать; тем же летом он благополучно съездил в подмосковный спортивный лагерь, о котором с восторгом поведал, когда собрался после летних каникул вместе. Даже похвастался: сподобился пожать руку чемпиону мира, который навел их там и дал им всем сеанс одновременной игры, и Феликс будто бы хоть и не смог его переиграть, но умудрился свести партию к ничьей—причём таких, как он, счастличиков в лагере набралось всего двое, и оба стали там героями дня; да ещё, как оказалось, об обоих написали в «Комсомольской правде»!..

От колхоза в сентябре он отвертелся: участвовал в каком-то шахматном семинаре. А в октябре получил наконец из Москвы долгожданные *корочки* с золотым тиснением: удостоверение кандидата в мастера. И заважничал.

Но почти одновременно с корочками получил и весьма болезненный щелчок по носу: его вычеркнули из молодёжной команды на «зону». Оказалось, что чем выше он взбирался по ступенькам спортивной карьеры, тем жёстче была конкуренция; начинали действовать какие-то подковёрные интриги, влиятельные знакомства, телефонное право, и вместо него включили в команду какого-то Андрюху, сынака важного спортивного *босса*. Феликс это, естественно, больно задело; он страстно переживал этот удар, жалуясь товарищам по комнате (больше было некому): — Да я этого Андрюху делал как хотел—стандартно играет! Теорию дебюта не знает ни черта, не умеет партию красиво закончить!.. Зря я приехал сюда: думал, у вас тут и правда социализм, а у вас—всё та же феодальная Азия! — и в его чёрных прекрасных ресницах блестели горькие мальчишеские слёзы обиды.

— Да ты не расстраивайся! — успокаивали его товарищи. — Не в этом—так в следующем году поедешь! Какие твои годы?

— А где гарантия, что в следующем не будет нового Андрюхи? — хныча, тянул своё Феликс. — Начальников же—ложкой не перехлебать!

— Так ты заработай за год столько очков, чтобы никто тебя не смел выкинуть! Ты сможешь это сделать!

— Не-е, ребята, вы не понимаете! Чтобы что-то сделать в шахматах, нельзя стоять—только вперёд! Если в двадцать ты не мастер спорта—всё, труба, отстал!

— А может, и без «зоны» сумеешь стать мастером? — Не-е, ребята, мастера получить можно минимум на зональном первенстве! А лучше—на республиканском!..

Он переживал этот удар несколько дней, ничего не делая и бродя как в воду опущенным. Но время, а также сочувствие, внимание и уговоры товарищей постепенно действовали на него, и уже через неделю он как будто бы вошёл в ритм студенческой жизни и успокоился. Однако внутренний огонёк в его душе слегка потускнел. Во всяком случае, он почти перестал весело улыбаться и шутить с беспечностью юного гения.

Как и на первом курсе, он продолжал принимать участие в традиционных факультетских, институтских, областных соревнованиях и, чтобы не потерять квалификацию, продолжал постоянно изучать шахматную литературу, решать шахматные задачки; попробовал даже сам сочинять их и печатать в областной *молодёжке*. И всё же заметно

было, что он относится ко всему этому уже без прошлогодного горения и азарта—как ко всякому повторению уже однажды пройденного. И по-прежнему ездил в городской шахматный клуб, где, как он сам говорил, у него появились прекрасные друзья... Обычно он уезжал туда по воскресеньям, в середине дня, и часов в десять вечера возвращался.

Но однажды вернулся только под утро и—пьяным.

Войдя в тёмную комнату, громко хлопнув дверью и тут же с грохотом опрокинув в темноте стул, он, естественно, разбудил товарищей, при включённом свете представ перед ними в широко распахнутых пальтеце и пиджачке, всклокоченным и глупо улыбающимся. Подойдя к столу, первым делом поднял пузатый чайник, в котором заваривали чай на всех, и, присосавшись к носику, начал жадно из него пить, чего раньше никогда не делал. Напившись и поставив его на место, он принялся вытаскивать из разных карманов и швырять на стол мятые денежные купюры самого разного достоинства. Набралась небольшая кучка.

— Во, выиграл! Дарю на общий стол!—картинно показал он на неё пальцем.

Затем повесил в настенный шкаф пальто и пиджак, добрался до своей кровати, отбросил одеяло, быстро разделся, потушил свет и рухнул в постель. — Ты чего—спать собрался? Уже скоро вставать!—подсказали ему товарищи.

— Не-е, ребята, я посплю! Опоздаю на лекции,—пробормотал он.

— Во что ж ты выиграл?—спросили его.

— В преф-фер-ранс,—успел он еле-еле выдавить из себя и тут же захрапел.

На лекции в тот день он так и не пошёл—отсыпался. А когда товарищи вернулись под вечер из института—застали его вполне бодрым.

Они взялись было журить его за вчерашнее: почему не предупредил? ведь они потеряли его, пытались дозвониться вечером до этого самого шахматного клуба по единственному на всё общежитие телефону, заявили о его пропаже в милицию!..—но разговор был быстро исчерпан тем, что Феликс торжественно пообещал отныне предупреждать их о своих *залётах*.

Правда, была ещё одна причина быстрее закончить неприятный разговор...

Дело в том, что любимейшим блюдом «общего стола» у нашей компании были свежие ливерные пирожки из студенческой столовой на первом этаже, дешёвые, ароматные, поджаренные до хруста, до густого золотисто-коричневого цвета и желательно ещё тёпленькие. Ребята при случае уплетали их десятками—под чаёк и общий разговор... Вот и в тот день к приходу товарищей Феликс накупил их на выигранные деньги целый портфель, высыпал на стол, подстелив газету

и газетой же заботливо прикрыв, чтоб не остыли. И, конечно же, товарищи, несмотря на то, что только недавно пообедели в столовой, тут же заварили чайник свежайшего чая и без всяких церемоний начали *обжираловку*, продолжая не законченные ночью расспросы Феликса по поводу выигрыша.

И под этот чаёк с пирожками он рассказал, что, во-первых, всякий уважающий себя шахматист—азартный игрок в душе, готовый сражаться во всё, что есть под рукой: шашки, шахматы, карты—да домино, в конце концов; а во-вторых, мужики в городском шахматном клубе давно разобрались по компаниям, один из них звал свою компанию к себе домой на собственные именины и, из большого уважения к Феликсу, пригласил и его тоже, а после застолья компания эта решила «перекинуться» в преферанс...

— Может, думали, что раз я восточный человек—так у меня денег куры не клюют и я—лох? А я их всех *обул*—мужики крупно *лоханулись*! По маленькой играли—по копейке за вист, но на хлебушек наскрё-ёб!—заразительно смеялся он: вчерашний выигрыш снова привёл его в отличное настроение.

Феликсовы товарищи по комнате, ещё недавно—«деревяня», конечно же, игравали в детстве в карты, однако то были простецкие игры, вроде «дурака» или «акулины»,—но уже начитаны и насыщены были, что есть на свете серьёзные карточные игры с умопомрачительными названиями: вист, бридж, бостон, преферанс... И оказалось вдруг, что все эти игры Феликс прекрасно знает!—но сам предпочитает самую умную из них, преферанс... И тут же вся компания единогласно решила: а пускай-ка он научит играть в него и их тоже!..

Истрёпанная колода карт нашлась у «историка» Паши: в общежитии они в них не играли, но хозяин колоды брал её с собой в колхоз—резаться в них в ненастья,—и они тут же, отставив недоеденные пирожки, горячо взялись за учёбу.

Сначала Феликс прочёл им краткую лекцию о том, что существует целая теория игр, но—только там, на Западе: у нас до неё ещё *не допёрли*,—однако на всесоюзном семинаре их в эту теорию кратко посвятил один наш умник. Есть, сказал далее Феликс, в теории этой и стратегия, и тактика, и изучение поведения партнёров в каждой ситуации, но им сейчас до той теории—как пешком до неба, так что придётся постигать её азы на собственных ошибках и расплачиваться собственным карманом, потому как всякая умная карточная игра должна быть только «на интерес», иначе играть всерьёз никогда не научишься, а потому «без денег за карты не садись»... Далее, сказал он, карточных игр существует на свете не меньше пятисот, а сколько точно—не знает никто; сам он знает всего с дюжину их, но что преферанс—король всех игр, это он знает точно...

Наконец, закончив вступительное посвящение, он положил на стол чистый лист бумаги, расчертил его карандашом, объясняя значение каждой линии и каждого значка на ней, затем, благословив начало:

— Первая игра—бесплатно: учимся!.. Ну что, понеслась душа в рай?—взял в руки колоду карт, быстро, ловко перетасовал их и с присказками вроде: «Карту не ругай—отвернётся», «В незнакому компанью не садись—обдерут до нитки», «Если через полчаса не понял, кто за столом лох,—значит, лох ты сам»,—он сдал карты и начал, терпеливо объясняя каждый элемент игры, учить их преферансу.

Товарищи его оказались сообразительными учениками—учились быстро; однако, сидя до вечера, за первую игру лишь кое-как одолели все её правила. Под конец, «чтобы лучше усвоить учёбу», Феликс предложил «сгонять партейку на интерес по маленькой—по полкопеечки за вист»... Играть недолго, часа три. Проигранные всеми троими рубли он велел тут же выложить на стол и приказал: завтра на эти деньги купить пирожки на всю компанью.

Вернувшись в следующее воскресенье из шахматного клуба, он доложил своим товарищам по комнате, что, признав там за ним его карточное мастерство, его свели с компанией солидных преферансистов—с полковниками, «у которых, говорят, денег куры не клюют»,—и что ему у-ух как хочется этот слух проверить!.. Так что в следующее воскресенье, часов в десять утра, заняв на всякий случай: вдруг да *продуетя в дым?*—у всех троих товарищей по сотенке (по случаю стипендии как раз все были при деньгах) и набрав общую сумму в пятьсот рублей, он, весёлый и возбуждённый, отправился в поход, сказав ребятам напоследок:

— Ну что, благословите! Или пан—или пропал: пошёл чистить карманы полковникам! Посмотрим, что у них там водится!

— Ни пуха тебе ни пера!

— К чёрту!..

Он снова вернулся под утро, весёлый и довольный, и снова пьяненький: дыхание его на этот раз наполнило комнату благоуханием хорошего дорожного коньяка. А карманы его были полны денег. — Сколько выиграл?—спросили его ребята.

— А чёрт его знает? Лень считать,—вяло махнул он рукой, раздал ребятам сотенные долги, дал сотню «на общий стол», а остальное оставил себе.

И, конечно, тут же завалился спать. Отсыпаться после напряжённой трудовой ночи...

Теперь он, забросив городской шахматный клуб, ходил каждое воскресенье «чистить карманы полковникам» и неизменно приходил в понедельник утром пьяненьким, пропахшим табаком (хотя

сам не курил) и—с полными карманами денег. И каждый понедельник давал себе целодневный отдых от института—отсыпался.

Три его пропущенных понедельника прошли в институте без последствий, а после четвёртого—его вызвали в деканат для объяснений; он начал изворачиваться, пытаясь объяснить каждый пропуск: то писал объяснительную, в которой ссылаясь на некий шахматный семинар, то умудрился достать где-то (опять, поди, добрые друзья из шахматного клуба выручили?) сразу несколько медицинских справок о том, что лежал с огромной температурой, с ангиной, с тяжелейшим приступом ревмокардита... А между тем за это же самое время третьего семестра, пользуясь своим званием кандидата в мастера, в будни взялся ходить по вечерам на судейские курсы по шахматам и через два месяца, закончив их, получил судейское удостоверение.

Ох, эти два месяца!.. Сложными они для него оказались.

Во-первых, его партнёрам-полковникам, похоже, надоело проигрывать ему *в дым*, и в конце концов они его изгнали, так что одно из воскресений Феликс провёл без игры, и это его опечалило. Он, конечно, уже изрядно по привычке к полным карманам денег, да, похоже, и к хорошему коньячку тоже—потому что от мучительного чувства печали посреди этого воскресенья он куда-то молча исчез, а вечером появился слегка навеселе, с очень знакомым уже коньячным ароматом изо рта, наполнившим комнату, а на вопрос ребят: «Где был-то?»—ответил небрежно:

— Да-а, что-то настроения не стало—съездил в ресторан, поужинал...

Однако печаль его была недолгой: друзья из шахматного клуба из уважения к его талантам, в том числе и преферансному,—слава о его талантах, видно, уже катилась впереди него,—расстарались: нашли ему новую элитную компанью городских преферансистов, и через неделю после *облома* с полковниками он уже играл там... Собираясь он туда с некоторой робостью: побаивался, что его *разденут*,—игра там, как ему сказали, шла по-крупному, а о карточном правиле: «Совесть и страх—картам не советчики»,—он и сам, бывало, напоминал ребятам. Но нет, вернулся утром хоть и с небольшим—но выигрышем. И—резвый! Поделился впечатлениями о знакомстве с компанией «элитных мужичков»:

— Ох и матё-ёрые зубры! Я, конечно, осторожничал—и ни разу не *залетел!* Хотя были моменты, когда они втроём *подсадить* меня старались. Так что можно и их потихоньку *надирать!* А там посмотрим...—и закатывался весёлым смехом.

— Ну Фи-илька!—по-своему восхищались им товарищи по комнате.—По преферансу ты у нас уже не кандидат в мастера—а целый гроссмейстер!..

Прошло ещё две недели. Теперь после каждого выходного он возвращался всё более довольным выигрышами, с ещё более полными карманами — и снова попахивая коньячком. Правда, не так обильно, как после встреч с полковниками. Можно даже сказать, запах этот был едва-едва уловим — зато куда как ароматен!

— А-а! Теперь я их всех раскусил, кто чего стоит! — вяло махал он рукой, укладываясь спать по возвращении из очередного похода, в то время как его товарищи собирались на занятия. — Теперь их только драть, и драть, и драть...

Но *драть* не получилось. Неумолимо надвигалась зимняя сессия, а он никак не мог получить сразу несколько зачётов, и его не допускали к экзаменам; кроме того, в деканате подвели итоги пропусков занятий, и он опять оказался «чемпионом курса» по пропускам; его справкам там уже не верили; кроме того, в них обнаружили *липу*, вспомнили прошлогоднюю *вольнку* с пропусками — и в конце концов его «в показательном порядке»: «чтоб другим не повадно было!» — отчислили из института.

Конечно же, он опечалился, но — как-то не очень и даже немного бравировал этим: похоже, отчасти уже готовился к такой развязке.

А уже вечером в комнату к ним зашла комендантша, суровая женщина, покрикивавшая на студентов хриплым баском, и сказала ему, чтобы завтра же сдал постель и освободил койку: мест в общежитии студентам не хватало...

— Что ты теперь делать-то будешь? — спросили его товарищи по комнате.

— Да-а! — беспечно махнул он рукой. — Переведусь на заочное — я уже был в деканате, договорился. Только документы оформить... Так мне даже удобнее.

— А жить где?

— Комнату сниму. *Ноу проблем*.

— А деньги? В смысле — на что жить?

— Тоже *ноу проублем*: богатых карманов много — ещё чистить и чистить! Потом, у меня же судейские корочки — а за судейство тоже неплохо платят. Хорошо, что умные люди присоветовали: вовремя курсы закончил... Да тут ещё есть такой завод имени Коминтерна, а при нём новый Дворец культуры открывают; мужики из шахматного клуба подсказали, что там должны открыть детско-юношескую шахматную секцию — и меня вроде как рекомендуют туда тренером. Так что на мой век работы хватит! *Ноу проблем!*..

И действительно: уже на следующий день под вечер он пришёл и сказал, что комнату снял, причём — совсем недалеко отсюда, так что будет навещать: привык к их компании, без них ему будет скучновато. Только вот комнатёнка там мала, даже шкафа нет, поэтому попросил оставить на время

у них во встроенном шкафу свою одежду, а на антресоли над шкафом — сам чемодан...

Ребята согласились. И он исчез, а через неделю заглянул к ним вечером, когда все уже были в сборе, и, между прочими разговорами, сказал: — Тут мои предки вдруг всполошились: я сдуру написал им, что перевёлся на заочное. Мамочка пишет, что батя там должностишку клёвую надбыл, зовут домой: всё, мол, будет теперь тип-топ. И батя меня по телефону ищет: может приехать. Если будут вам звонить — скажите, что не знает, где я. Неохота что-то в свою Азию возвращаться — привык уже тут с вами обитать.

— Да ведь у нас — та же Азия! — со смехом возразили ему ребята.

— Та же, да не та, — рассудил Феликс

— А чего не хочешь с отцом встречаться?

— Давить будет, а я отвык. Вот уж он-то — точно Чингисхан у меня...

А ещё через несколько дней, прямо с утра, — день как раз воскресный был, и потому все в комнате ещё лежали в постелях, чесали языками и только намеревались встать, — их навестил Феликсов отец.

Они сразу его узнали: высокий худощавый мужчина средних лет, симпатичный, даже красивый: со смуглым узким лицом, с такой же, как у Феликса, иссиня-чёрной слегка кудрявящейся шевелюрой — только что виски сединой, как инеем, прихвачены; но, в отличие от сына, с уже чисто азиатским разрезом жгуче-чёрных глаз, и при этом — зычный чистый голос с едва сдерживаемыми властными нотками. Точно: вылитый Чингисхан! — а одет прямо-таки элегантно: серый костюм на нём с белой рубашкой и галстуком; поверх — распахнутое однобортное пальто из серой же добротной ткани, с узким воротником из серебряного каракуля, и — каракулевая же серая шапочка-пирожок в руке; и при всём при том — отменно вежлив. Войдя, поздоровался, представился, сказал, что приехал разобраться с сыном, и, видя, что ребята не возражают, прошёл, сел на стул и только тогда продолжил разговор с ними, продолжавшими лежать в постелях:

— Он мне позвонил и сказал, что перевёлся на заочное отделение. Я понял: опять у него какая-то путаная история, — а мне бы хотелось, чтобы он всё-таки получил нормальное образование. Но он темнит; я ничего не могу понять. Можете честно рассказать, что у него произошло? Парень неглупый, талантливый, но — с залётами. Обещаю: разговор — между нами. Для его же пользы. Согласны?

Ребята согласились и всё честно, со всеми подробностями ему рассказали.

Он поблагодарил их и ушёл.

На следующий день утром они видели обоих, Феликса и отца, в институте, на том этаже, где кабинет ректора. А вечером того же дня оба пришли к ребятам — забрать оставшиеся Феликсовы

вещички вместе с чемоданом. И отец, и сын были немногословны; чувствовалось, что они дружны между собой и хорошо понимают друг друга без слов, но в то же время заметно было, что отец ни на минуту не хочет отпустить сына от себя.

Феликс на прощание пожал ребятам руки и сказал, что уезжает домой, что всё, что прожито у него за полтора года в этой комнате, было просто здорово, что он всегда будет помнить об этом и будет им писать. При этом в его тоне чувствовалось сожаление об отъезде. А отец его, едва заметно улыбаясь, лишь молча кивал головой. С этой же улыбкой он тоже пожал ребятам руки, и они ушли...

Однако Феликс им так ни разу и не написал, и они потеряли его из виду.

А ведь за те полтора года, что он жил с ними, наша троица успела настолько с ним сдружиться, что он запал им в память на всю жизнь, хотя его место в комнате никогда не пустовало: как только оно освободилось, к ним тотчас же подселили парня-первокурсника; потом этот парень, найдя более подходящих для себя товарищей, перебрался к ним... С тех пор на этом месте перебивало ещё несколько разных ребят с младших курсов, так что их личности впечататься в память нашей троицы уже не успевали — не то что Феликс: он оказался самой яркой из них всех личностью, звездой, так что они вспоминали о нём потом частенько, особенно когда садились *сгонять партейку* в шахматы или *перекинуться* в преферанс, — теперь, когда они играли с кем-нибудь из товарищей по общежитию, будь то шахматы или тот же преферанс, — натренированные Феликсом, они легко всех *обували*.

Будучи на старших курсах, они интересовались у институтских чемпионов по шахматам: не слышали ли, не читали ли они про шахматиста Феликса Аралбаева из Казахстана? — ведь он наверняка уже мастер спорта, если не гроссмейстер, и, может быть, участвует во всесоюзных или даже международных соревнованиях, и имя его, возможно, упоминается в газетах, в шахматных журналах... Шахматисты-старшекурсники, конечно же, его помнили, но имени его больше нигде никогда не встречали. А младшекурсники о нём уже и не слыхивали.

Его сотоварищи по комнате очень о нём сожалели: ведь он, с его упорством и умением безжалостно работать над собой, когда надо, запросто мог — с его-то талантом! — стать гроссмейстером, чемпионом своей республики, страны, мира, наконец! Мог навечно вписать своё имя в историю шахмат, стать новым Чигориным, Капабланкой, Ботвинником! Не стал. Пропал парень ни за понюх. Сгинул. Проиграл вчистую. И не в честном бою

проиграл — а в патовой ситуации, самой позорной в шахматах: загнанным в угол, из которого нет никакуды выхода. И ведь загнал себя туда сам... Или не сам? Была ли связь между его патом — и почти незаметным, вроде шрама на одной из его бровей, надломом души, выросшей в тесном, грубом человечьем муравейнике на городской помойке?..

Да, конечно же, эта связь была, и его товарищи по комнате, конечно же, постепенно её осмыслили: надлом Феликса начинался на их глазах — с того момента, когда его, законного кандидата, *кинули* с участием в зональном первенстве; он был так подавлен, так обижен этим *обломом*, что не смог справиться с обидой без последствий — всё дальнейшее стало похоже на мщение всем, кто попадался под руку. А оружие мщения выбирал он сам — то, каким сам владел без промаха...

Часто вспоминая о нём, бывшие его товарищи по комнате удивлялись потом ещё и тому, как легко были вовлечены им в его игры и как стремительно вовлекается во власть азарта душа; это был хороший урок всем троицам на будущее.

Они были неглупые ребята, и все трое хорошо учились, хотя ещё не успели ни в чём себя проявить, ибо были сельскими, «с поздним зажиганием», — но с добротной душевной закваской и твёрдыми стержнями в характерах, воспитанными обязательным сельским трудом с малых лет, и, конечно же, все трое — добросовестные комсомольцы, верившие в непреходящую победу коммунизма, который они должны будут построить для себя сами, спокойно помалкивая об этом, отнюдь не выставляя своих убеждений напоказ.

Кроме того, с той поры, как их оставил Феликс, они намного осторожней теперь пускались во всяческие забавы, даже невинные, стараясь почаще вспоминать, зачем сгрудились в этой не очень-то уютной комнате на целых пять лет.

Такова вот краткая история четвёртого товарища нашей троицы... Где он теперь, этот Феликс Аралбаев? Что с ним стало?... Почему его явная покровительница, эта капризная богиня счастлиливой судьбы Фелица, отвернулась от него, не сумела ухватить его покрепче за чёрные вихры и вытащить из вязкой болотины быта, человеческих слабостей и страстей? Почему не помогла ему подняться в горние выси света, разума, высокой мечты — да славы, в конце концов?... Почему в наших душах этот свет разума так слаб и беззащитен: едва блеснул лучик его в Феликсовой душе — и погас!..

А нам что теперь делать? Посочувствуем ему, оплачем его незадачливую судьбу, но нам — идти дальше: исследовать, распутывать судьбы остальных троих его сожителей по комнате.